

«Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X–XI вв.»

Петра Стефановича

В последние несколько десятилетий интерес к социальной истории Древней Руси, казалось, практически полностью угас. Классические дискуссии советских времён о характере «социально-экономического строя» древнерусского общества, о «развитии феодализма» и формах феодальной зависимости и эксплуатации явно исчерпали себя. Направление дальнейшего научного поиска неизбежно должно было определяться новым прочтением уже известных текстов, междисциплинарным синтезом (прежде всего, разумеется, с использованием новейших достижений археологии и лингвистики), а также широкой компаративной перспективой. Автор обсуждаемой нами книги П.С. Стефанович пошёл именно таким путём, что дало ему возможность совершенно по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные сюжеты¹. Книга, которая легла в основу недавно с успехом защищённой автором в Институте российской истории РАН докторской диссертации, написана ярко, смело и потому вызывает и, несомненно, ещё будет вызывать споры специалистов как у нас в стране, так и за рубежом.

В дискуссии приняли участие: профессор А. Берелович (Высшая школа исследований в области социальных наук; Париж, Франция), доктора исторических наук А.А. Горский (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Институт российской истории РАН), А.С. Лавров (университет Париж-Сорбонна, Франция), А.Е. Мусин (Институт истории материальной культуры РАН), кандидаты исторических наук Н.В. Ениосова (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), П.В. Лукин (Институт российской истории РАН).

Александр Лавров: Смена историографических и методологических ориентиров

Перед тем, как перейти непосредственно к книге П.С. Стефановича, которую я считаю событием в российской медиевистике, следует отступить на пару шагов назад и попытаться рассмотреть её в более широком контексте. Речь вовсе не идёт о том, чтобы приписать эту книгу к какому-то «направлению» или научной школе. Скорее можно говорить о некоторых общих чертах одного из поколений российских историков. Используемые его представителями методы и постановка проблем серьёзно изменились по сравнению с 1990-ми гг.

Во-первых, решительно изменились историографические ориентиры. Если для многих российских медиевистов 1990-х гг. основным ориентиром оставалось второе поколение школы «Анналов» во главе с Ж. Ле Гоффом, то в книге

¹ Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X–XI веках. М.: Индрик, 2012. 656 с.

Стефановича их место занял основательно вычитанный автором Х. Ловмянский (включая не переведённые на русский язык «Начала Польши»), Ф. Граус со своей четырёхступенчатой теорией дружины и К. Модзелевский с его «варварской Европой»². При этом саму классику школы «Анналов» Стефанович знает хорошо, хотя, что примечательно, в числе трудов основателя школы М. Блока его интересуют не «Короли-чудотворцы», а поздно переведённое и оказавшееся невостребованным в российских спорах о феодализме «Феодальное общество». О преимуществах расширенного круга чтения долго говорить не приходится. В соответствии с этим изменились и приоритеты – на место истории ментальностей и «воображаемого» пришла история правовых норм и потестарных институтов.

Во-вторых, изменилось и отношение к историографическому наследию прошлого века. Если многие медиевисты 1990-х гг. не удержались от искушения лишний раз связаться в полемику с Б.А. Рыбаковым и другими классиками советской историографии, то Стефанович подобных атак избегает и, кажется, видит в них «лёгкий хлеб» (это моя формулировка), предпочитая работать с первоисточниками. Это стремление к разрыву, выражающееся не в полемике, а в сознательном отказе использовать некоторые понятия, имеет по крайней мере одно важное последствие для книги. Автор сознательно избегает термина «этничность», поскольку суждения об идентичности в раннем средневековье кажутся ему, очевидно, слишком вкусовыми. При этом не стоит думать, что он по каким-то соображениям предпочитает остаться вдали от до сих пор тлеющей дискуссии о варяжском вопросе (Стефанович занимает в ней довольно чёткую позицию). Но допустить в свою книгу какую-либо дискуссию об этничности он не хочет, и в этом смысле его позиция начинает отдавать некоторым радикализмом.

Книга открывается большим историографическим введением, распадающимся на две части – «германская дружина» и «славянская дружина». В этой части, носящей наиболее постмодернистский характер, Стефанович показывает, как «дружина» не столько открывалась, сколько конструировалась в историографии. В результате получается своего рода двухчастная компаративистская фреска, начинающаяся с «Германии» Тацита, *comitatus* которой был объявлен дружиной. Можно высказать лишь небольшое сожаление о том, что очень интересный параграф о скандинавской дружине, настоящее место которого, конечно же, здесь, во введении, оказался перемещён в центр исследования, отчего логика изложения не выиграла. В результате компаративистская сторона оказывается вынесенной в начало исследования, тогда как заимствование тех или иных институтов – то, что сейчас в историографии называют «культурным трансфером» – оказывается на втором плане. Если я правильно восстанавливаю авторскую логику, то Стефанович допускает, что какие-то дружинные институты складывались у самих восточных славян (таков был тезис А.А. Горского, опиравшегося в своей реконструкции «славянской дружины» на свидетельство Прокопия Кесарийского). После этого готовые «дружины» викингов прибыли из Скандинавии, и два этих явления как-то сплывались в одно. При этом вывод Стефановича о том, что социальные условия в Древней Руси не были «простым слепком скандинавского общества» (с. 439) остается

² См.: Лукин П.В. «Варварская Европа» и современные проблемы изучения раннесредневековых славянских обществ: О новой книге К. Модзелевского // Славяноведение. 2008. № 2. С. 25–40.

абсолютно логичным: у скандинавов был один институт, а в Древней Руси – симбиоз из двух, автохтонного и «привозного». Скупость источников общеизвестна, но даже при ней модель того, как действовал культурный трансфер, могла бы быть гипотетически сформулирована.

Поясню моё замечание: мы вправе предполагать у среднего скандинавского дружинника высокую социальную мобильность и «культурную компетентность», но всё же не такую, как, например, у футболиста начала нашего века, которого, благодаря среднему знанию английского языка, можно «продать» в любую национальную команду. Ускоренные курсы иностранного языка и несколько умело данных интервью позволяют уже через несколько недель представить его «своим». Средневековым дружинникам тоже приходилось играть «за чужую команду», но у нас есть все основания полагать, что учились они медленнее и что именно дружина (или какой-либо подобный ей институт) играл роль интегрирующей структуры. И ещё раз: если Карлы, Фарлов и Руалд из договора 911 г. входили в княжеский совет, то на каком языке там шла дискуссия? Если они входили в княжеский военный отряд, то каким там был командный язык?

Главный вывод, сделанный автором в главе о дружине, оказывается несколько раз повторенным в книге и заключается в том, что это понятие изначально многозначно. Порой оно обозначало военный отряд, порой – окружение князя. Порой в него входят бояре, а порой они противопоставляются дружине. Стефанович видит только одну перспективу вернуть понятию «дружина» качество научного термина – это концепция «большой дружины», выдвинутая Ф. Граусом, согласно которой данный феномен возможен только в период постоянных войн, «сверхдоходы» от которых позволяли постоянно держать во всеоружии большое количество воинов. Подобная концепция действительно хорошо укладывается в сообщения древнерусских источников, например Повести временных лет – под 6453 г., когда князь Игорь, только что вернувшийся из второго похода на Византию, должен по требованию дружины предпринять внеочередное полюдье. С этим выводом связан и другой – трудно или бесполезно говорить о «малой» и «большой» дружинах древнерусских источников как о социальных терминах, поскольку эти понятия просто могут отсылать к разным поколениям в окружении князя. Отсюда нежелание автора и отождествлять «старшую» дружину с будущим боярством, и говорить о расслоении дружины.

Можно было бы согласиться со Стефановичем в его сомнениях о «социальном расслоении» дружины. В то же время по крайней мере два из подобранных им примеров показывают, что «большая» и «малая» дружины привязывались к определенным социальным реалиям. После смерти киевского князя Всеволода Святополк, приехавший из Турова княжить в Киев, не собиравшись советоваться с «болшею дружиною отнею и стрья своего» (ПВЛ под 6601 г., с. 143). Вместе со Стефановичем резонно заключаем, что дружина, которая приехала из Турова вслед за князем, была «малой» дружиной, в то время как в Киеве он нашёл «большую» дружину своего отца Изяслава (которая, возможно, служила до 1093 г. Всеволоду, его дяде) и дружину Всеволода. С другой стороны, нельзя не предположить, что Владимир Мономах, уходя из Киева в Чернигов, не захватил хотя бы нескольких советников и воинов, служивших его отцу Всеволоду. Предполагаемые нами групповые идентичности вряд ли можно описать как просто генерационные. Возникает вопрос, всегда ли новый князь, которому предстояло «сесть» на новый «стол», перенимал и часть дружины своего предшест-

венника? А что происходило с дружиной князя, умершего без наследников – распадалась или искала целиком другого князя? Кажется, что слияние двух и более дружин не могло происходить без формирования определённой коллективной иерархии. Именно поэтому социальное прочтение понятий «большой» и «малой» дружины не стоило бы столь фронтально отвергать.

Признание «дружины» многоплановым и расплывчатым термином даёт Стефановичу возможность отказаться от некоторых историографических штампов, например от идеи о «расслоении» дружины, в результате которого якобы и выделились бояре. Пафос исследования Стефановича состоит в том, что он пытается проследить судьбу этой группы саму по себе, с самого начала. В главе, посвящённой боярам, Стефанович делает несколько замечаний, с которыми хотелось бы согласиться. Во-первых, он справедливо замечает, что сам термин «бояре» был заимствован на Руси из Болгарии, а не наоборот, как некогда утверждал А.А. Горский (с. 366). Во-вторых, Стефанович определяет бояр как часть княжеского окружения, совершенно справедливо отмечая, что древнерусские источники, за единственным исключением, никаких «земских бояр» не знают (с. 365) и что сами по себе эти «земские бояре» являются изобретением историков. В-третьих, автор достаточно удачно обходится с «молчанием» Русской правды о боярах, стараясь показать, что оно не свидетельствует о слабой стратификации древнерусского общества. Я не согласился бы только с оценкой статьи 91 Пространной правды как «подтверждения общепринятой нормы» (с. 525).

Напомню текст статьи: «О задницѣ боярьстѣй и о дружнѣй. Аже в боярехъ либо в дружинѣ, то за князя задница не идетъ, но оже не будетъ сыновъ, а дщери возмуть» (с. 523). Стефанович предполагает, что эта статья не вводила новой нормы, а подтверждала уже существующую, приводя правдоподобный аргумент о богатстве новгородских бояр в 1018 г. (ибо трудно предположить, что эти богатства накоплены были исключительно в первом поколении). Мне кажется, что здесь можно отойти от крайностей, настаивая либо на новации, либо на подтверждении уже существовавшего права. Поскольку передача боярской собственности по наследству весьма вероятна, можно предположить, что эта статья могла бы, например, распространить на дружинников нормы, регулировавшие наследование у бояр. Сама по себе датировка Пространной правды, падающая на то время, когда переходы князей с дружинами со стола на стол сменялись понемногу стабильными локальными династиями, благоприятствовала бы подобному подходу – ведь именно в условиях перехода князю, который должен был быстро обустроить дружинников на новом месте, могла понадобиться и мобилизация имущества бывших дружинников. Отмечу также и право дочерей на получение наследства – право, к которому ещё придётся вернуться.

На мой взгляд, главная трудность для Стефановича здесь состоит в том, что выше его героев – бояр – в иерархии находятся только князья, а о них исследования, подобному тому, которое мы сейчас обсуждаем, пока не написано. Именно поэтому наиболее сложной оказалась работа автора там, где граница между боярами и князьями ещё расплывчата. Для X в. Стефанович привлекает «Книгу церемоний» Константина Багрянородного. Тот, описывая окружение Ольги, писал об «архонтах». Вывод Стефановича достаточно чётко – в эту категорию попали и князья, и бояре. Детальное описание свиты Ольги можно наложить на данные договоров Руси с Византией, что, кстати, уже неоднократно делалось в историографии (как известно, греческие подлинники договоров утрачены,

а древнерусские переводы сделаны, вероятно, в XI в.). Согласно Стефановичу, «князьям» и «боярам» соответствует здесь ἄρχων подлинника³. Поэтому историк часто пишет об «архонтах», настаивая на несводимости этой группы к более позднему. Вывод о том, что правящая элита в этот момент включала в себя представителей династии, «сидевших» в Киеве или в городах других полунезависимых правителей, не принадлежавших к этой династии, но также контролировавших отдельные столы⁴, а также знати, служившей тем и другим (с. 390–391), притом что термины иерархии оставались ещё малоработанными и взаимозаменяемыми, кажется правдоподобным.

В этом контексте выделение «архонтов», бесспорно, является историографическим новшеством. Согласно Стефановичу, они вряд ли «представляли собой один родственный клан» (с. 410). Особо останавливаясь на тех архонтах, которые были настоящими «территориальными владельцами», историк замечает, что власть здесь передаётся по наследству, «в том числе и женщинам» (с. 434). Размышления автора можно было бы продолжить. Во-первых, интересен тот факт, что расслоение и дифференциация правящих элит приводит к прекращению женского престолонаследия (княгиня Ольга оказывается последней), в то время как дочери бояр и дружинников наследуют собственность своих отцов. Во-вторых, кажется, что кристаллизации княжеского статуса сильно способствовал тот факт, что в Древней Руси он с определённого момента оказался связанным с принадлежностью (фактической или измышленной) к одной династии – факт не уникальный, но и не всеобщий. Произошло это не сразу, и некоторые свидетельства источников, подобранные Стефановичем, могут быть использованы как иллюстрация постепенной монополизации династией статуса, который раньше принадлежал всей группе (с необходимостью легитимировать принадлежность власти только одному княжескому роду связан рассказ Повести временных лет об убийстве Аскольда и Дира, который, будучи вынесенным в начало хронологии, заочно оправдывает, например, устранение Владимиро-полоцкой династии).

Отвлекаясь от методологических дискуссий (которые, кажется, давно стали уже занятием в себе), можно сказать, что в современной российской (как, впрочем, и в любой другой) медиевистике присутствуют две крайние тенденции – стремление высоко держать знамя постмодерна и чисто неопозитивистский подход (приверженцы последнего безошибочно расшифровываются по хронологической структуре их работ). Преимуществом Стефановича является то, что он и не тут, и не там. Своё осторожное отношение к постмодернистским подходам он выразил очень косвенно, касаясь дискуссии Д. Тимпе и Р. Венкуса о «Германии» Тацита (с. 71–74). Вместе с тем один из главных результатов его исследования – разведение дружины как источникового термина и как научного понятия – проходит по разряду деконструкции.

По книге в целом хотелось бы высказать четыре общих замечания. Первое – по поводу использования данных археологии. Стефанович прекрасно

³ Стефанович напоминает, что в договоре 911 г. упоминаются только князья и лишь один раз бояре, в договоре 944 г. князья и бояре «равноправно фигурируют», тогда как в договоре 971 г. упоминаются «только бояре без князей» (с. 388).

⁴ В числе этих правителей, не принадлежавших к династии, Стефанович указывает Рогволода (Полоцк) и Туры (Туров) (с. 415). К ним следовало бы прибавить князя Ходоту, выловленного Владимиром Мономахом в вятских лесах, который пользовался большой популярностью в советской историографии в силу своей принадлежности к славянскому, а не к скандинавскому ономастикону.

знаком с находками украинских и российских археологов, но ему свойственен скепсис по отношению к «комплексному источниковедению». Иногда он даёт читателю понять, что данные археологии могут с равным успехом использоваться для подтверждения диаметрально противоположных представлений о древнерусской знати. Отсюда ироничная заметка о городище с захоронениями у села Шестовицы на Черниговщине, которое сначала интерпретировалось как «дружинный лагерь», а теперь курганы вокруг него называются «курганами конунга» (с. 435). Ирония автора понятна, но проблема в том, что и то, и другое понятие пришли из скандинавской археологии, где они обозначают вполне определённые феномены, к которым археологи и пытаются привязать находки из Шестовиц. Отмечу прежде всего широкую дифференцированность погребений представителей элит, которую прослеживает Г.С. Лебедев для «эпохи викингов» – от камерных погребений Бирки до подкурганного сожжения в ладье (от которых исследователь отделяет норвежские «королевские ингумации в кораблях») ⁵. К сожалению, не использованным Стефановичем оказалось новейшее исследование К.А. Михайлова, посвящённое захоронениям в погребальных камерах. Между тем именно эта работа содержит наибольшее число параллелей по отношению к наблюдениям самого Стефановича (хотя Михайлов осторожно пишет о принадлежности захороненных к городским общинам). Количество исследованных срубных захоронений – более 100 (при том что археологам доступен незначительный процент от всего количества подобных захоронений) – коррелирует с гипотетической численностью древнерусской знати, как она реконструируется Стефановичем. Мужские погребальные комплексы этого типа явно доминируют по отношению к женским (соответственно 62 и 32%), что также показательно. Наконец, захоронения в погребальных камерах оказываются интегрированными в городские могильники, но присутствуют они только около крупнейших центров Древней Руси – Тимирёва, Киева, Чернигова, Пскова, Старой Ладogi и Шестовиц. Самое же интересное замечание Михайлова, на мой взгляд, состоит в том, что в целом очень близкие друг другу скандинавские и древнерусские захоронения имеют одно отличие: в последних присутствует прихоронение «взнузданного верхового коня» ⁶. Не пропустим ли мы очень важного момента, связанного с продвижением «дружинника» (или «боярина») по восточноевропейским путям – его вынужденной пересадки с ладьи на коня?

Второе. Больше внимания следовало бы уделить этимологии слова «боярин». Можно только согласиться со Стефановичем, когда он высказывает законные сомнения по вопросу о том, был ли этот термин заимствован из болгарского в древнерусский в книжном контексте или в контексте устной коммуникации (с. 374). Но между первой и второй возможностью есть существенная разница. В первом случае из текстов, написанных или переведённых в Болгарии на старославянский язык, на Русь попал крайне многозначный термин, которым болгарские книжники обозначали ряд греческих терминов (ἄρχων, μεγιστάν, συνυκλιτικός) ⁷. В случае же заимствования «живого»

⁵ Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Л., 1985. С. 71–87.

⁶ Михайлов К.А. Древнерусские элитарные погребения X – начала XI вв. (по материалам захоронений в погребальных камерах). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 5, 11–12, 20.

⁷ Младенов Ст. Към въпроса за старобългарското боярство // Списание на Българската Академия на науките. Клон Историко-филологичен и философско-обществен, 26. София, 1923. С. 1–70. См. также: Biliarsky I. Word and Power in Mediaeval Bulgaria. Leiden, 2011. P. 38.

термина, обозначавшего социальную реалию, всё гораздо интереснее, потому что болгарская знать была сформирована в несколько иных условиях, нежели древнерусская, – без норманнского влияния, но со значительным наследием кочевнической государственности. Здесь мы прежде всего наталкиваемся на слово «бойла» (βοῖλας), имеющее тюркское происхождение, которое встречается в протоболгарских надписях и которым византийские авторы обозначают болгарскую знать⁸. Примечательно, что производное от этого слова («быль / быля») иногда употребляется в древнерусских текстах в значении «приближённый князя», в том числе и в тех, которые считаются связанными с дружинной традицией (таковы «черниговские были» в «Слове о полку Игореве»)⁹. Что же касается термина «боляринь», то его иногда возводят к множественному числу от βοῖλας – βοῖλιάδες. Вообще, характерно, что два ключевых древнерусских социально-политических термина – «князь» и «боярин» – имеют, соответственно, скандинавскую и тюркскую этимологию. Было бы крайне интересно узнать, какими словами называли свою знать кочевые соседи Древней Руси, прежде всего половцы.

Третье замечание касается сравнительно-исторического материала. Большой интерес здесь представляют размышления американского медиевиста К. Туманова, который считает возможным говорить применительно к средневековой Армении и Грузии о «династической аристократии» и «династицизме» (dynasticism). Это явление возникает во время «постепенной эволюции племенного строя, превращающегося в политику». Если географические условия благоприятствуют этому, то результатом становится сосуществование большого количества мелких политий, каждая из которых управляется своей династией. При этом политической раздробленности всего ареала противостоит единый и чётко очерченный класс «династов». Последний «кристаллизуется как социальный класс задолго до того, как сформировалась какая-либо другая социальная страта», т.е. до того, как изначальное племенное общество свободных воинов разделилось, и перед тем, как в нём выделились кланы и семьи с их главами, которые и представляют из себя зачатки «знати», а также весь остальной «народ». Туманов настаивает на исходной дихотомии подобной знати (в которой «князья» как потомки династов противостоят всем остальным «воинам») по сравнению с гораздо большим единством средневековой западной знати. Он считает эту модель приложимой и для средневековой Руси и Литвы, предусматривая лишь одно существенное отличие: по сравнению с пёстрой по своей генеалогии «династической аристократией Кавказа» русские и литовские князья, возводившие свои роды к Рюрику и Гедимину, как бы принадлежали к двум династиям (историчность или фантастичность этих генеалогий здесь совершенно не важна). Замечания Туманова могут служить серьёзным контраргументом против тезиса о длительном существовании единой группы «архонтов», в которую князья-«династы» входили с представителями других групп знати¹⁰.

Четвертое. Исследование древнерусских текстов в последнее время приобрело второе дыхание благодаря репринтным изданиям миниатюр исторических рукописей, а также благодаря новым подходам к их интерпретации. Для темы, избранной Стефановичем, речь может идти, конечно же, о Раздвигиловской

⁸ Die protobulgarischen Inschriften / Hrsg. von Veselin Beševliev. Berlin, 1963. S. 279–280.

⁹ Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 364.

¹⁰ Toumanoff C. Studies in Christian Caucasian History. Georgetown, 1963. P. 36–39.

летописи. Разумеется, смоленский миниатюрист XV в. уже не застал «настоящих» дружин, но он мог гораздо лучше нас понять текст, который иллюстрировал. Было бы интересно посмотреть, видел ли иллюстратор «малую дружину» или «отроков» как «средовеков» или как «юношей».

Наконец, стоит заметить, что большой объём монографии – 655 страниц – посилен для специалиста, но неподъёмен для школьного учителя. А ведь с сюжетов, которым посвящена книга Стефановича, начинается любой курс русской (или украинской) истории. Хорошо бы издать краткое изложение основных тезисов автора. Кажется, в советской медиевистике эту добрую традицию – брошюра с изложением основных выводов монографии – поддерживал только И.И. Смирнов, выпустивший два таких «автореферата».

Андре Берелович: Сосредоточивая внимание на словах

Социальная история (не говоря уж об экономической) в наших представлениях связана с диаграммами, кривыми, статистикой – одним словом, с количественными величинами. Пётр Стефанович доказал, что убедительно писать об обществе Древней Руси X–XI вв. можно при почти полном отсутствии количественных данных, опираясь исключительно на строго выдержанный, пытливый, тонкий и методичный анализ повествовательных источников и тем самым заменяя количество качеством.

Источники по этому периоду, как известно, немногочисленны и к тому же не точны. Даже русско-греческие договоры 911 и 944 гг. известны нам не иначе, как в летописной передаче, на верность которой можно только надеяться. Летописи, которые редактировались 100–150 лет спустя после описываемых событий, оказываются лишь далёким отголоском реальной истории. Иностранные сообщения, в первую очередь трактаты византийского императора Константина VII Багрянородного, неоценимы, но написаны без настоящего знакомства с тогдашним русским обществом. Лишь археологические находки, в том числе берестяные грамоты, дают неоспоримые свидетельства, но они почти никогда прямо не относятся к избранной автором теме – истории древнерусской элиты.

Скудость источников до некоторой степени компенсируется существованием аналогичных явлений в других европейских государствах. Сравнение русских черт со среднеевропейскими (венгерскими, польскими, чешскими), западноевропейскими (германскими, в частности франкскими, и английскими) и скандинавскими позволяет автору выстроить типологию изучаемых социальных фактов (см. образцовый обзор европейской знати и выводы, с. 532–541). Для этого необходимо было углубиться в историографию этих стран, а также привлечь соответствующие филологические труды. Стефанович читает на многих языках, особенно хорошо он овладел немецкой историографией (см., например, с. 50–86). Его виртуозная эрудиция нередко вызывает чувство, близкое к восхищению.

Анализируя источники, чтобы лучше понять природу домонгольского общества, историки обычно интересуются *смыслом* древних текстов. Язык летописей, разумеется, нуждается в объяснении, но главная забота учёных – определить, какие реалии эти тексты описывают. Стефанович совершает своего рода коперниканский поворот, сосредоточивая внимание именно на самих *словах*. Всё исследование на них и построено: что значат и откуда происходят